

Эмилио Серени

ГОРОД И ДЕРЕВНЯ В ДОРИМСКОЙ ИТАЛИИ*

«**Б**ЛАГОДАРЯ предшествующим победам вы вступили в обладание этими полями и благами их, и все, что мы обещали в наших речах, оправдалось вполне. Теперь предстоит борьба за города и их достояние. С победой в этой битве вы тотчас же станете господами всей Италии. Одна эта битва положит конец нынешним трудам вашим и вы будете обладателями всех богатств римлян, станете повелителями и владыками всего их достояния (ἡγεμόνες ἅμιν καὶ δεσπότες πάντων γενήσεσθε...)».

Видимо, впервые в этих знаменитых словах речи, которую Полибий накануне Каннской битвы, положение о превосходстве и решающей командной и руководящей роли городов (τῶν πόλεων) по отношению к сельской территории (τῆς χώρας) — как в плане экономическом, так и военно-политическом — выражено с такой уверенностью и точностью. С тех пор это положение, более или менее ясные формулировки которого встречались еще и раньше в Греции и в самом Риме, стало — вплоть до наших дней — общепринятым по отношению к греко-римскому миру и получило распространение среди историков и социологов самых различных школ, поднявшись (или упав) до значения общего места. Этому превосходству города над деревней придавалось такое значение, что его признавали характерной чертой, отличающей античный и, соответственно, новый и современный мир от мира средневекового, феодального, отмеченного — напротив — таким же экономическим, политическим и военным главенством деревни над городом.

В целом эта суммарная характеристика отношений города и деревни в различные великие исторические эпохи, кажется, не может и не должна быть оспорена. Более того, можно добавить, что именно эта суммарная характеристика совершенно определенно создает предпосылки для дальнейшего углубленного как исторического, так и социологического исследования отношений город—деревня, их природы, их развития; предпосылки, необходимые особенно тем исследователям, которые не ограничиваются рассмотрением этих отношений в их статике и нерасчлененной целостности, но, напротив того, стараются исследовать генетические моменты и структурные членения. Значение таких членений, впрочем, очень ясно осознавал уже Аристотель, когда он, с первых же страниц своей «Политики», начинает изложение теории города (полиса), подчеркивая

* Доклад на конференции «Этрусский и доримский итальянский город» (Болонья — Феррара, 31 мая — 5 июня 1966 г.). Перевод выполнен с приложенной в редакцию ВДИ рукописи. Итальянский текст доклада напечатан в «Critica marxista», anno IV, № 3, 1966, стр. 73—100.

особенно, что «всегда следует сложное расчленять на его составные элементы, мельчайшие части целого. Основываясь на этом, мы сперва рассмотрим составные элементы города (*πόλις*), далее разберем отличительные свойства каждого из них и, наконец, поставим вопрос, возможно ли дать научное объяснение каждому из указанных выше понятий» (Polit., I, 1, 1, 3). Что касается значения генетического момента для теории города, тот же Аристотель не преминул подчеркнуть, что как при всяком другом исследовании, так и здесь наилучшее понимание предмета будет достигнуто тогда, когда анализ начнется с генезиса вещей (там же).

Однако если, продолжая свое исследование, Стагирит выполняет свое обещание, поскольку дело касается анализа членений и синхронной структуры города, то он отказывается от своего намерения, поскольку дело касается генетического исследования и диахронных структур города, и начинает просто-напросто повторять метафизическое и антиисторическое утверждение относительно «естественного» характера города (Polit., I, 1, 2, 8), доходя до того, что в своем знаменитом определении человека как *ζῷον πολιτικόν* (Polit., I, 1, 2, 9) он упирает в универсальное стремление человека к созданию обществ отождествляет с частной исторической формой такого стремления, а именно стремлением к созданию городского (полисного) общества.

По этой причине необходимо было дожидаться появления более зрелой исторической и социологической мысли, чтобы вопросы генезиса полиса и взаимоотношений города и деревни могли бы, в их конкретных и дифференцированных исторических формах, быть не то чтобы приближены к решению, но хотя бы лишь затронуты и поставлены. Более того, когда Вико именами из числа наших соотечественников — совершили решительный шаг вперед в понимании генетического процесса отношений города и деревни и его исторической обусловленности, то и тогда, кажется, за этот прогресс пришлось заплатить частичной утратой (или, по крайней мере, ненужной модернизацией) того взгляда на вещи, с которым Стагирит в свое время подошел к углубленному социологическому анализу этих отношений, их членений и их структур.

Необходимо было дожидаться первых марксистских работ (а потом, если угодно, и новейших достижений современного структурализма), чтобы к общим или, напротив, исторически не дифференцированным концепциям отношений города и деревни присовокупились такие направляющие исследования, которые, в данной связи, стремились индивидуализировать — как в плане синхронном и социологическом, так и в диахронном и историческом — важнейшие структурные элементы. И, разумеется, не случайно, что с первых же шагов нового учения исторического зиса, их структуры, их исторических судеб — по необходимости встала перед К. Марксом и Ф. Энгельсом в «Немецкой идеологии» (в 1845—1846 гг.) как центральная.

Взятая как проблема — мы бы сказали — структуры, она сводится прежде всего к проблеме уровней развития и структур производительных сил и общественных производственных отношений. Глубоко и тщательно расчлененными и связанными в структуру, начиная с их возникновения, выступают в марксистском анализе не только города и, соответственно, деревни, но и их взаимоотношения, в которых теперь можно видеть не только формы первого и решающего общественного разделения труда, но и ту новую структуру, в рамках которой — в отличие от того, что происходило в родовой и племенной общине, — социальные отношения данного человеческого общества, так сказать, проецировались, объективи-

ровались и материализовались на почве, уже прочно занятой этим обществом.

«Могилой родового строя» назовет — в этом смысле — Ф. Энгельс окруженный стенами город и будет прав. Но такова диалектика, что именно в этой родовой и племенной исключительности, которую новые единства (в коих конкретизируется и обретает силу процесс оседлого поселения: территориальная община, паг — *trifu*, город — *tota*, сама священная цитадель — *okar*) призваны были похоронить, коренится их собственное резкое выделение, их замкнутость по отношению к внешнему миру, представляющие перед нами во всей их мощи и варварской неукоснительности еще в таком источнике, как Игувийские таблицы, дающие нам сведения о ритуале *exterminatio*. Но не менее верно, напротив, и то, что из-за этой стены, померия, крепости, которые более чем когда-либо могли сделать из города пространство, точно ограниченное в материальном, военном и сакральном отношении и отгороженное от внешнего мира, — не менее верно и то, что благодаря этой стене, померию и крепости город обратился в место убежища, в центр притяжения и привлечения новых людей, за счет которых прогрессирующее общественное разделение труда уже выделило новые ремесленные, торговые и другие сословные группы. «Ведь всем городам (*ταῖς πόλεσι*), — писал уже Аристотель (*Polit.*, VI, 5, 8, 2), — неизбежно приходится для удовлетворения необходимых взаимных нужд обращаться как к купле, так и к продаже; это служит самым сподручным средством для достижения того самодовления (*αὐτάρκειαν*), ради которого люди, очевидно, и объединялись в одну гражданскую общину». Именно поэтому (говорит тот же Стагирит) «город... не может существовать (*ἀδύνατον εἶναι πόλιν*) без необходимых магистратур», и первая из необходимых функций этих магистратур есть функция надзора за общественным рынком (*ἡ περὶ τὴν ἀγοράν*) (*Polit.*, VI, 5, 8, 1).

Следует теперь указать на значение той связи, которую Аристотель устанавливает, таким образом, между все более явно меркантильным характером новых производственных отношений, возникших в результате первого важного общественного разделения труда между городом и деревней и выработкой внутренней и внешней структуры территориальной и городской общины. Эта структура во временной плоскости объективировалась и проецировалась в непрерывности магистратур и учреждений, отличных от самой общины, а иногда, и противостоящих ей, и в противоположность ей — во всяком случае в плоскости пространственной — уже проецировалась и объективировалась в общественных зданиях и сооружениях. Этими «общественными и частными зданиями...», — замечает Аристотель, продолжая уже цитированную нами мысль, — содержанием в должном порядке (*εὐκοσμίαι*), поддержанием и ремонтом (*διόρθωσις*) общественных дорог, определением границ отдельных владений и предупреждением споров» должна заниматься специальная магистратура, наделенная полномочиями городской полиции (*ἀστυνομία*), делившейся, в свою очередь, на ряд служб, например, службу кураторов городских стен, смотрителей источников и др.» (*Polit.*, VI, 5, 8, 3).

Εὐκοσμίαι, διόρθωσις — в подобных терминах уже определяются первые элементы городской планировки и гражданского устройства, в которых выражаются новые силы города, неизвестные общинам типа родовых и племенных, где простая кооперация между отдельными компонентами общины оставалась еще совершенно *naturwüchsig* [первозданной], так что ее эффективность оставалась на уровне лишь несколько более высоким, чем у животных. Поэтому, уже в «Немецкой идеологии», Маркс и Энгельс справедливо связывают новые силы города с тем обстоятельством, что этот город — при общественном характере его магистратур, его уч-

реждений, его структур и даже некоторых его зданий — приходит и к сознательной организации и структуре общественного хозяйства в той мере, в какой это оказывается возможным на данном уровне развития общественных производительных сил. Более того, эти новые силы города, которые конкретизировались и объективировались в его магистратурах, в его общественных зданиях, в его планировке, позволяют ему распространить влияние своих внутренних структур на самое деревню, подчиняя ее своему руководству, собственной власти и даже налагая на нее свой отпечаток, вводя в ее ландшафт свои собственные формы. Аристотель говорит уже о магистратурах и магистратах *πόλις*'а и упоминает не только *ἀστυνομία*, т. е. «распределителей» и «распорядителей» города (VI, 5, 8, 4), но и называет «распределителей» и «распорядителей» полей (*ἀγρονόμους*) и даже блюстителей лесов (*ὄλοροῦς*), полномочия и власть которых распространялись далеко за пределы городских стен на всю окружающую сельскую местность, на всю территорию *πόλις*'а.

Хорошо известные сведения Диодора Сицилийского об основании в середине V в. до н. э. панэллинской колонии Фурий всегда смогут лучше, чем какие-либо другие, касающиеся нашего Полуострова, дать нам ясное представление об этой способности античного города руководить и управлять деревней, способности, которая за время от греческой колонизации и этрусского синоикизма и вплоть до римского завоевания и колонизации благодаря продуманному устройству обширной дорожной сети и более мелкой сетки последовательных *limitationes*, наложила стойкий отпечаток (часто заметный и поныне) на значительную часть нашего сельскохозяйственного ландшафта. Нам важно подчеркнуть в рассказе об основании панэллинской колонии Фурий то обстоятельство, что, как и в более позднее время при основании колоний римского и латинского права, прямоугольная городская структура поселения Гипподамова типа распространялась и проецировалась на всю окружающую сельскую территорию. Было установлено, так сказать, двуединое соответствие в расположении (и в частном о с в о е н и и) городских *insulae* [кварталов] и больших участков сельскохозяйственной территории. Соответствие это было таково, что в определенный момент между самими гражданами Фурий возникли серьезные раздоры по тому поводу, что за первыми колонистами (и только за ними) оказались закреплены, вместе с центральными *insulae* городской территории, также и сельскохозяйственные участки, менее удаленные от населенной части города, а потому более удобные для обработки и более рентабельные (Diod. Sic., XII, 9; 11).

Как — в этом случае — в Фуриях, так и в других вновь образованных колониях, т. е. в сугубо аграрных центрах способность города управлять и распоряжаться деревней, очевидно, вытекала из самого факта сосредоточения в пределах города тех его новых сил, которые, как мы уже видели, особенно отмечали в своих первых работах К. Маркс и Ф. Энгельс. Но эти силы, новые и концентрированные, вытекающие из общественного, коллективного характера магистратур, учреждений и городских структур, не могли бы в достаточной мере обеспечить полную гегемонию города над деревней, если бы граждане не распространили за пределы городских стен производственные, собственнические, рустицизированные (мы бы сказали) структуры, в сущности своей однородные городским; именно через эти структуры сосредоточенные в городе силы могли наиболее эффективно проникать в деревню, органически и структурно воздействуя на нее. В таких случаях город-гегемон и сельская местность срастались (пользуясь полным смыслом и точным выражением Антонию Грамши) в подлинный исторический комплекс. Внутри этого комплекса

не только в производственных структурах и в политических, правовых, идеологических и религиозных надстройках (суперструктурах), но и на всех уровнях их взаимных связей и социальных опосредствований (родственных, торговых, языковых и других) даже наличие глубоких этнических или классовых противоречий не может скрыть от нас существенную *однородность* данного историко-социального комплекса или хотя бы завуалировать ее.

Последние работы, например, книга «Клисфен Афинянин» Пьера Левека и Пьера Видаль-Наке¹ или статьи «Геометрия, политика и общество» Марселя Детьенна, «Пространство и политическая организация в древней Греции» Жана-Пьера Вернана, опубликованные в «Анналах» («Annales», 1965, № 3), вносят, нам кажется (ибо они касаются историко-географической среды, столь тесно связанной с доримской Италией), особо значительный и бесспорно стимулирующий вклад в исследование того исторического комплекса, который характерен для важнейших аспектов отношений города и деревни в доримской Италии. Вдохновленные, как кажется, в значительной степени новейшими структуралистскими теориями, эти новые исследования, между прочим, ценны еще тем, что их авторы сумели в общем избежать тех двух подводных камней, на которые чаще всего рискуют натолкнуться сторонники этих теорий и поборники подобных методов исследования. Это, во-первых, — чисто синхронное рассмотрение структур, которое приводит к неспособности понять процесс их становления и тем более процесс их исторического развития; во-вторых, — поиски наиболее глубоких корней самих структур, корней, уходящих в «непознаваемое» или вообще в туманную метафизику идеалистического или магического толка.

Отсюда, конечно, не следует, что и работы, только что названные, совершенно свободны от ограниченности, свойственной, как нам кажется, современным структуралистским теориям.

Это представляется справедливым в особенности, когда приходится отмечать известную произвольность при выборе уровней, на которых порой исследуют или констатируют наличие или однородность данного типа структуры, не пытаясь установить — не скажу иерархию этих уровней (как иногда считают необходимым сделать некоторые последователи вульгаризованного или фальсифицированного марксизма), но хотя бы их необходимую взаимосвязь и взаиморасположение, т. е. опять-таки присущую им структуру.

Вспомним в этой связи гениальные заметки Грамши и его полемику против той концепции надстроек (идеологических и других), которая стремилась свести их к простым «видимостям». Напомним, что (как он настойчиво подчеркивал), собственно говоря, только через эти надстройки, через свою идеологию люди понимают и могут понять структуру своего общества, противоречия, конфликты, противоположности, которые в нем развиваются. Но прежде всего напомним, что в выработке нового исторического комплекса, нового типа тесных и нерасторжимых связей между базисом и надстройкой, между структурами и суперструктурами, Грамши отводит генетически решающую роль труду, производственной, созидательной деятельности человека. Труд, который в одно и то же время, в одном и том же процессе производит и потребляет не только материальные средства нашего существования, но также нашу технику, наши орудия, самые наши производственные отношения, равно как и наш язык и все другие формы выражения и общения, служащие для связи между людьми в самих производственных отношениях, а также для оформления системы

¹ P. L'évêque, P. Vidal-Naquet, Clisphène l'Alhénien, P., 1964.

политических, правовых, идеологических, религиозных надстроек, из которых складывается структура нашего общества и через посредство которых мы познаем его диалектику и противоречивую реальность.

Итак, следовательно, «im Anfang war die Tat» [«в начале было дело»], в начале была производственная деятельность всякого исторически данного и мыслимого человеческого общества, которая лишь одна может дать нам то не произвольное *principium generationis* [начало развития] и, следовательно, *individuationis* [индивидуализации] необходимых связей и взаиморасположения различных уровней, на которых однородность структуры данного исторического комплекса, а потому и его наиболее глубокая структура могут и должны быть исследованы. Представляется ли возможным в свете тех методологических соображений, которые только что кратко изложены, углубить, в частности, тему структуры отношений города и деревни в доримской Италии?

Мы, конечно, не можем претендовать на то, чтобы в этом небольшом объеме предложить что-нибудь, кроме кратких и схематических указаний на некоторые направления исследования, которые могли бы стать полезными при его углублении в только что указанном направлении. Представляется бесспорным, что в Италии римской, в «посвященной богам» (*diis sacra*) Италии Плиниева описания, в Италии Города и городов — гегемония города над деревней в области экономики, политики, языка и культуры была уже утверждена и закреплена, и даже достигла высшей точки своего развития. Но в предшествующий период римского завоевания, что бы ни говорил Ганнибал в своей речи накануне битвы при Каннах (см. цитату в начале статьи), эта гегемония города над деревней представляется вовсе не бесспорной и подверженной разнообразным и долговременным превращениям. Достаточно вспомнить в связи с этим о сопротивлении и подчас даже обратном развитии в процессе установления экономической, политической, военной, языковой и культурной гегемонии города над деревней, связанных с обстоятельствами Союзнической войны или (еще раньше) Самнитских войн (не говоря уже о более серьезных колебаниях, связанных с взаимоотношениями города и деревни в эпоху от этрусского владычества до латино-республиканской реставрации в Риме).

Кажется, никто лучше проф. Девото не смог продемонстрировать воздействие колебаний в отношениях города и деревни на область языка, воздействие, время от времени проявлявшееся в контрасте между *urbanitas* и *rusticitas* или — в более древнее время — между этрусским, латинским и сабинским языковыми компонентами. В других существенных отношениях, как, например, в отношении экономической гегемонии, недостает еще результатов достаточно глубоких и убедительных исследований, тем не менее очевидно наличие подобных же колебаний, становящихся при этом все значительней по мере углубления в прошлое, от эпохи римского завоевания ко временам греческой колонизации и этрусского синиокизма.

В чем же причины подобных колебаний? Несомненно (и мы об этом предупреждали), что отношения между городом и деревней не могут и не должны ни в коем случае рассматриваться как глобальные и статичные отношения между двумя реальностями, которые могли бы в свою очередь рассматриваться как реальности аморфные, лишенные сложного членения, не имеющие структуры синхронической и диахронической.

Реальная и стабильная гегемония города над его сельской территорией (напомним, для примера, об уже названных Фуриях) могла быть осуществлена только там, где власть, сосредоточенная в городе, могла включаться в такую структурную связь, которая либо уже однородна ее собственной структуре, либо трансформируется ею в этом направлении.

И чем мог быть процесс укрепления гегемонии Города и городов в римской Италии, как не процессом колонизации, создавшей сеть *limites*, в которой Рим смог отпечатлеть на немалой части нашего Полуострова заметные и сегодня следы своих городских и аграрных систем, своей землемерной техники, гидротехнических сооружений и системы дорог, межобластных, провинциальных и местных, т. е. в конечном счете следы самой своей структуры, своего хозяйственного, владельческого, правового, административного и конституционного порядка?

Совершенно отличен случай (все более частый, по мере того как мы углубляемся в эпоху доримской Италии), когда город оказывается перед лицом сельского мира, структуры которого в сущности и н о р о д н ы по отношению к его собственным. Возьмем, например, древнейшие греческие колонии, выведенные на территорию с местным населением из племен авзонов, сикулов или мессапов. В этом случае мы оказываемся перед лицом не только существенной гетерогенности г о р о д с к о г о у с т р о й с т в а греческих колоний и устройства родового (или скорее т е р р и т о р и а л ь н о г о, по пагам) местных общин: гетерогенности, которая уже сама по себе делала менее легким и во всяком случае не а в т о м а т и ч е с к и м установление гегемонии колониального города над местной деревней. Более того, утверждение подобной гегемонии могло задерживаться сопротивлением (и даже с временными изменениями направления развития), которое было тем серьезнее, что нередко городские структуры и городское устройство в эту более древнюю эпоху оказывались в фазе относительно медленного, а иногда даже как бы лишь экспериментального становления; тогда как родовые и пагальные структуры местного сельского населения находились, наоборот, в фазе мощного, хотя и варварского, расцвета, для которого характерен институт военной демократии.

Ситуация, в известных отношениях аналогичная, повторилась позднее, в период нападения самнитов и луканов на юге, а галлов на севере, на равнинные и прибрежные города греков и этрусков. Эти племена, так же как два-три века назад авзоны, сикулы и мессапы, переживали период мощного и агрессивного расцвета их варварской организации, в то время как структуры и учреждения греческих и этруских городов (теперь уже не столько по причине своей юношеской незрелости, сколько из-за чрезвычайной серьезности классовых противоречий, которые их подрывали изнутри и зачастую ослабляли их устойчивость) утратили способность к сопротивлению и тем более — к распространению своей гегемонии.

Многочисленные и ценные труды (среди которых мы не можем не упомянуть книгу, хотя и не столь недавнюю, Жака Эргона о доримской Капуе², открывшую для подобных исследований новые пути) предоставляют в наше распоряжение достаточно широкий и обработанный материал источников об упомянутых колебаниях в отношениях деревни и города доримской Италии — материал, который нередко позволяет достаточно детально проследить превратности этих отношений в отдельных областях в плане как экономическом, так и в военно-политическом, этническом, языковом и культурном. В целом, однако, остается несомненным, что, несмотря на все колебания и превратности между VIII и III вв. до н. э., структуры и устройства городского типа широко распространили свое влияние на значительную часть нашего Полуострова и Островов, создавая конкретные формы гегемонии города над деревней, отныне более широко усваиваемые Римом в своих интересах.

² J. H e u r g o n, *Recherches sur l'histoire, la religion et la civilisation de Capue préromaine des origines à la deuxième guerre punique*, P., 1942.

Каковы же оказываются (в самом кратком изложении) основные синхронные и диахронные структурные явления этого процесса? Пусть позволят мне мои коллеги археологи, принявшие участие в обсуждении проблемы, остро поставившие и разработавшие различные вопросы, связанные с городскими структурами доримской Италии, сделать одно предварительное замечание. Не может ли стать, что некоторые из затруднений, с которыми столкнулись археологи при истолковании письменных источников, относящихся к городской планировке этрусского или Гипподамова типа, когда эти источники, например, сравнивают с данными археологической разведки, — не являются ли эти затруднения следствием метафизического подхода (да позволено мне будет это выражение) к изучению самих этих городских структур? Такого подхода, который приводит к отрыву и к абстрагированию этих структур от конкретного исторического контекста. В то время как этот исторический контекст прежде всего — каково бы ни было, например, отношение городских структур к типу сакральной ориентации (взятой вообще под сомнение для римского города в интересном сообщении проф. Ле Галля) — есть не что иное, как динамическое отношение город—деревня? И не должны ли возбудить наше внимание факты, подобные уже упомянутому основанию панэллинской колонии Фурий или широкому распространению употребления плуга в обряде основания городов? Или, в более широком смысле, то обстоятельство, что большая часть городов, возникших в древней Италии, характеризуется как *askerbautreibende Städte* (выражение К. Маркса), как города, населенные прежде всего людьми, занимавшимися сельским хозяйством?

Поэтому отсюда мы и начнем наше очень краткое исследование некоторых основных технико-производственных структур в изучаемый период. Итак, что касается

1) *технико-производственных структур в земледельческой, лесной и скотоводческой сфере*, то мы можем заметить, что уже в начале изучаемого периода, около VIII в. до н. э., процесс дифференциации между земледельческим населением (террамары) и населением, занятым скотоводством (апеннинская культура), представляющий характерным явлением эпохи бронзы, идет к завершению благодаря развивающейся интеграции скотоводства и земледелия (что видно на примере субапеннинской культуры). Подобная интеграция не исключает, но даже в конечном счете подчеркивает специализацию отдельных племен в той или иной преобладающей сфере деятельности (земледельцы и скотоводы культуры Вилланова, например, в противоположность протоиталикам, занятым пастушеством населения, специально занятого пастушеским скотоводством). Что касается примерно с VIII в. эволюция технико-производственных структур характеризуется, по-видимому, тенденцией к переходу от кочевого образа жизни или от сезонных, но беспорядочных перекочевков, к режиму регулярного отгульного скотоводства на высокогорных альпийских пастбищах, меньших по размерам, чем прежние, но строже ограниченных территориально. А это особенно содействует (на горах или на равнинах, соответственно климатическим и бытовым условиям) развитию земледелия и более прочной оседлости. Таковой представляется, например, вплоть до протоисторического и исторического времени линия развития хозяйственных структур и скотоводческо-земледельческих навыков у таких племен, как, например, палеолигуры и северные альпийцы или как умбро-сабеллы в центре и на юге, в период между VIII и III вв. до н. э., когда они сложились в народности, различающиеся между собой по признакам историческим, языковым и структурным.

Разумеется, еще более непосредственной оказывается связь процессов, подобных описанным выше, с выработкой городских структур, когда от анализа пастушеской деятельности мы переходим к анализу собственно земледельческих технико-производственных структур.

Несмотря на устойчивость систем доплужного земледелия (подсечной, лопатно-мотыжной и др.) на обширных частях Полуострова и Островов с конца эпохи бронзы и на нашей территории, как известно, появилось пахотное земледелие с применением более или менее примитивного плуга как на землях, возделывавшихся по подсечной системе, так и на землях, возделывавшихся по залежной системе. От временных «полей-туманностей» (как удачно окрестил их один французский археолог) неолита и энеолита — малых участков, неопределенные очертания которых случайно определялись выжженной площадью, теперь перешли — там, где возобладали новые способы плужного земледелия, — к полям более или менее правильной прямоугольной формы, вырабатывавшейся при необходимом перекрещивании борозд при древней вспашке. Но при залежной системе, на протяжении эпохи бронзы и позже, даже и это более упорное и более регулярное воздействие человеческой деятельности на формы естественного ландшафта, в свою очередь, оставалось непрочным, связанным лишь со случайностями вспашки, после чего по прошествии года или нескольких лет сельскохозяйственного использования данного участка следовал длительный или окончательный его заброс под залежь или даже под пастбище.

И только в I, но еще шире во II период железного века, которые совпали на нашем Полуострове и на Островах с временем греческой и пунийской колонизации и с развитием этрусского синоикизма, система двухлетнего пара (или двупольная система, как ее называют иначе) стала распространяться на все более обширные территории. Более того, можно сказать, что начиная с VIII в. до н. э. отмеченное распространение двуполья, — характеризующееся, между прочим, прогрессирующим преобладанием интенсивных зерновых культур (и в первую очередь пшеницы) над экстенсивными (полбой и в особенности просом, культура которых характерна для системы залежного и подсечного земледелия), — это вот распространение двуполья, как мы говорили, знаменует собой период греческой, пунийской и этрусской колониальной и городской экспансии. Распространение двупольной системы сопровождалось, с другой стороны, хотя и с некоторым запаздыванием, распространением тесно с нею связанной системы насаждений (виноград и маслины). И для той и для другой технико-производственные земледельческие структуры проецируются на самую почву, оставляют на ней след, находят объективное выражение в правильных и стабильных ландшафтных структурах.

Заметный водораздел между этими структурами дает нам — там, где новая система двуполья и садовых плантаций уже утвердилась, — разделение между землями, колонизованными и постоянно возделываемыми, и землями, отныне заброшенными под пастбища или лесосеки или же в отдельных случаях возделываемыми нерегулярно и спорадически. С другой стороны, простейшие элементы этих новых ландшафтных структур образуются, собственно говоря, самим полем, которое вместо первоначальной неправильной формы «поля-туманности» или более определенной, но еще не постоянной формы участков, обрабатывавшихся по залежной системе, приобретало затем совершенно четкие очертания и постоянную форму, полученную им в результате обработки земли посредством перекрестной пахоты, как и в результате самого двухгодичного чередования посева и пара по двупольной системе.

Характеристика этой простейшей ландшафтной структуры как структуры по существу прямоугольной — уже проявлявшейся, как было отмечено, в наиболее развитых формах залежного земледелия — сделалась более отчетливой и определенной не только в результате практики перекрестной пахоты, но также и в связи с началом упорядочения гидротехнических и ирригационных устройств (отвалов, канавок и т. д.), теперь необходимой ввиду более строгих культивационных требований интенсивных зерновых культур. Нетрудно понять, почему именно этруски, трудившиеся в климатических условиях, характерных для Паданской низменности, Тирренской Этрурии и самого Лация, особенно преуспели в организации системы подобных устройств.

Но для всей территории нашего Полуострова и Островов в дальнейшей выработке и консолидации форм простейшей ландшафтной структуры, составляемых — при двупольной системе — возделываемым полем, начинала играть роль, наряду с установлением границ другого поля (т. е. поля под паром), дальнейшее распространение насаждений. Прямые ряды насаждений с еще большей определенностью и постоянством подчеркивали те контуры ландшафта, которые определяются бороздами, сточными канавами, рвами, границами усадеб и ведущими к ним дорогами.

Но еще того более, как простые формы, так и сама система мер этих новых структур в значительной мере обусловлена структурой и техникой двупольной системы. Поэтому решающее значение в том, что касается не только размеров самих полей, но также и размеров, присущих городским структурам, приобрела единица измерения, каковой является *сχοῖνος* (схен — египетская мера длины) Гераклеийской таблицы (и этрусский парег Перузинского межевого камня, ср. латинские *паругае* «веревки»), аналогичная римскому *actus* в 120 футов длиной и оскско-умбромскому *vorsus* (или *versus*) — в 100 футов. Меры эти не случайно самым своим наименованием, как об этом говорят Варрон (*De re rust.*, I, 10, 1), Фронтин (II, 477) и Плиний, соотносятся с длиной борозды, которую, при данном уровне развития пахотной техники и тягловой силы, одна пара быков могла провести в один прием (*Plin. NH*, XVIII, 3, 9: *actus in quo boves aagentur cum aratro uno impetu iusto*).

Между двумя крайними пределами (один из них — это линия, разделяющая колонизованную и невозделанную области; другой конкретизруется в отдельном поле, т. е. в простейшей ландшафтной единице, характерной для новой аграрной системы двуполья) — между крайними пределами, как мы сказали, в конкретных исторических условиях рассматриваемого периода и среды пространственная проекция (назовем ее так) технико-производственной организации, присущей самой системе, отчетливо проявляется в промежуточных структурах, подобных тем, которые засвидетельствованы для нас следами (литературными, эпиграфическими и археологическими и даже остатками ископаемых ландшафтов) греческого клера (*κλήρος*) и латино-римской центурии (*centuria*), у которой, впрочем, явственно прослеживаются этрусские предшественники. И несомненно, еще более чем в случае отдельного поля, форма этих промежуточных единиц ландшафта предстает как органически и непременно прямоугольная; их связь с прямоугольностью городских структур ясно доказана примерами, которые дают рассказы об основании Фурий, колоний с латинским и римским правом или же самого Рима. Археологические исследования, вроде тех, какие проведены С. Стржелецким, В. Блаватским и другими над клерами греческих колоний Понта³, подтвердили, с другой стороны, что

³ См. об этом В. Д. Блаватский, *Земледелие в античных государствах Северного Причерноморья*, М., 1953, стр. 59 сл.

структура этих промежуточных единиц ландшафта — типа клера, гередия (*heredium*) в два югера, центурии, состоящей из ста гередиев, и т. д. — соотносится, в свою очередь, по своим размерам, с размерами и простейшей формой поля, обусловленной требованиями, присущими двупольной системе земледелия. Именно поэтому гередий, например, как единица ландшафта (и владения) имеет прямоугольную (иногда даже квадратную) форму вследствие соседства двух полей (предназначенных поочередно для обработки и пара), каждое из которых равно югеру — прямоугольнику, длина которого вдвое больше, чем ширина (1×2 actus); размеры эти всегда могут быть соотнесены с длиной борозды, которую пара быков может провести в один прием. Квадрат величиной 20×20 actus'ов, равным образом отображает структуру и характерные измерения центурии — единицы римской колонизации. К тому же, как было отмечено, исследования, подобные упомянутым изысканиям В. Блаватского, подтвердили тесную связь между требованиями двупольной системы земледелия и наделами *парного* типа, которые встречаются при внутреннем подразделении клеров в Херсонесе Таврическом.

С другой стороны, еще более чем на уровне простейших пространственных единиц — т. е. поля и соответственно отдельного дома, — связь между прямоугольной структурой, присущей аграрному или соответственно городскому ландшафту, которую, таким образом, можно объективно проследить, является особенно тесной и значительной, когда переходишь к рассмотрению промежуточных единиц, каковыми как раз оказываются *κλῆρος*, и, соответственно, городская *insula*. Новое и особое значение на этом уровне при определении и установлении форм аграрного и городского ландшафта, их внутренней глубокой связи приобретают

2) *техничко-производственные структуры, свойственные системе передвижения и транспорта*, или, в более узком смысле, дорожной сети города и прилегающих территорий. Достаточно напомнить в этой связи о первостепенной роли, какую сыграли эти структуры дорожной сети города и прилегающих территорий при осуществлении планов римской колонизации (а еще раньше — греческой и этрусской). Согласно им, не могла существовать ни *centuria*, ни *insula*, доступ к которой или проезд через которую не был бы обеспечен проведением *limites*, т. е. точно трассированных дорог, по которым, как об этом обычно сообщают «*Libri coloniarum*», *iter populo debetur*: т. е. подъезд и проезд должны быть обеспечены для всех.

Таким образом, и с этой стороны — особенно в том, что касается дальнейшего развития внутриобластных и межобластных дорог, которое достигнет своей кульминации в разработке дорожной сети эпохи римского завоевания и колонизации, — также и с этой стороны, как мы сказали, в эволюции и в прояснении отношений между городом и деревней мы оказываемся перед лицом технико-производственных структур (присущих в этом случае системе передвижения и транспорта), которая в конечном счете находит свое объективное выражение, проецируя себя на самое почву, приобретая постоянную способность влияния на формы сельского и городского ландшафта.

Конечно, допахотные системы использования земли, леса и пастбища или залежная система имели какую-то систему передвижения и транспорта, какую-то структуру внутриусадебных, местных, областных и даже в известной мере межобластных дорог. Археологические следы более или менее непостоянных троп, направления которых подчинялись рельефу местности, можно обнаружить также и на почве нашего Полуострова и Островов даже там, где жили беспорядочно кочевавшие племена, лишь

попутно занимавшиеся земледелием. В эпоху перехода от конца бронзы к I периоду железного века, несомненно, в связи с отмеченным выше ограничением и стабилизацией передвижений, связанных с отгульным альпийским скотоводством, имелось достаточно случаев, когда среди непостоянных троп, уже проложенных в прошлом, начали выделяться дороги, которые отныне приобретают некоторые характерные черты наших старинных *trazzere* или же альпийских *drailles* (бараньи тропы).

Даже при самом беспорядочном залежном земледелии, с другой стороны, не могло не существовать каких-либо пусть непостоянных внутриусадебных дорог, проторенных хотя бы волами и ведших на обрабатываемое поле, либо дорог, протоптанных теми же волами или мулами, использовавшимися для перевозки продуктов к месту их потребления. Но то, что в указанном смысле представляется совершенно новым в отношениях города и деревни, принесенным с появлением и распространением системы двупольного земледелия, теснейшим образом связанной с распространением греческой, этрусской, а затем и римской *limitatio*, — это наличие внутриусадебных, местных и внутриобластных, а иногда и межобластных дорог, структура которых не предоставлена воле случая и не определяется спонтанными и непостоянными следами, оставляемыми на местности потоками передвижения и транспорта, но сознательно намечалась, заранее устанавливалась и органически входила в план городской и сельской колонизации. Таким образом, в этой системе построенных дорог сами потоки передвижения и транспорта в конце концов проецировались на почву, приобретая тем самым свою объективную и видимую реальность.

Легко понять, какое значение для взаимоотношений и интеграции между городом и деревней имела эта новая структура дорожной и транспортной системы, которая столь значительно увеличила свою производительность благодаря возросшей возможности использования колесного транспорта вместо вьючного. Можно даже сказать, что, начиная с этого момента, собственно эти и другие успехи в транспортной технике (как усовершенствования дорожного покрытия и трассы, типа колеса и самой повозки, а потом, много столетий спустя, и системы животной тяги) указывают на возможности и в то же время на пределы городской экспансии и воздействия городов в древней Италии: не случайно в Империи влияние самого Рима будет обусловлено по-прежнему тем, насколько грандиозная дорожная сеть сможет обеспечить минимум связи со столицей.

Прошу извинения у моих коллег за то, что при описании технико-производственных структур, присущих системам земледелия и передвижения, я не ограничился лишь краткими и общими указаниями, как обещал ранее, и остановился несколько подробнее на этом предмете. Но мне казалось необходимым особенно подчеркнуть природу и эволюцию этих структур, так как очень часто дело кончается тем, что их не принимают в расчет не только при рассмотрении городских структур, но даже при исследованиях отношений между городом и деревней в древней Италии: как будто, повторяем, город можно рассматривать метафизически и понять вне его реального и конкретного исторического контекста или как будто он один появляется перед нами со своей реальной, органически ему присущей и конкретной структурой, в то время как деревня будто бы совсем аморфна, лишена какой-либо формы или структуры.

Это подчеркивание (которое мы считаем необходимым и неотложным) технико-производственных структур, присущих сельскому хозяйству и средствам сообщения, не означает, само собой разумеется, ни того, что собственно только к таким структурам могут или должны быть отнесены или низведены все прочие структуры, в которых конкретизируется и выяв-

ляется отношение между городом и деревней в древней Италии, ни даже того, что, по сравнению с этими другими структурами, первым принадлежит нечто вроде приоритета или иерархического превосходства. Мы уж не говорим о том, что среди самих технико-производственных структур мы даже не упомянули многие другие (достаточно вспомнить о тех, что относятся, например, к металлургической технике); нельзя упускать из виду их громадного значения в выявлении отношений города и деревни и даже в утверждении городского устройства в той природной среде, в которой, в частности, находились, например, представители культуры Виллановы, а потом этруски. Мы не говорим и о том, что — даже, пожалуй мы ограничиться рассмотрением структур, относящихся к данному уровню развития общественных производительных сил, — нам было бы нужно заняться не только структурами, присущими определенным средствам производства и определенным техническим средствам, но также и теми структурами, которые прямо относятся к самому человеку, т. е. к тому, что может и должно рассматриваться в качестве первой и решающей общественной производительной силы.

Мы позднее еще вернемся к этой последней теме. Но уже сейчас мы не можем упускать из виду или забывать, что нет общественной производительной силы (включая такую первую и основную, как сам человек), которая могла бы действовать, развиваться и создавать структуру вне данного конкретного исторического контекста, структура которого, в свою очередь, необходимо обусловлена определенными отношениями общественного производства и воспроизводства. Поэтому следует говорить не о иерархии или приоритете структур, присущих производительным силам или, соответственно, отношениям общественного производства и воспроизводства, но о едином историческом комплексе, возникшем одинаково из производственной и творческой деятельности организованного человеческого коллектива и именно поэтому дифференцированном, расчлененном, имеющем собственную структуру, состоящую из ряда структур и суперструктур в тенденции и однородных. Все это верно, даже если в плане синхронном и диахронном (т. е. в плане конкретного и подлинно исторического развития) такая однородность в тенденции всегда будет снова и снова нарушаться не только процессами диффузии и циркуляции (т. е. переплетением и столкновением чуждых друг другу и различных потоков), но и, прежде всего, органическими и имманентными процессами обновления или же, наоборот, отставания в области производства и культуры.

Итак, каков в свете этих методологических положений тот ряд структур, который характерен для отношений города и деревни в древней Италии и к углубленному определению и анализу которого нужно как можно скорее приступить? Правда, и здесь недостаток места заставляет нас ограничиться замечаниями почти телеграфно краткими, вдобавок к предыдущим, развернутым шире. Если мы говорили о человеке как о первой и решающей общественной производительной силе и если мы, с другой стороны, указали на отношения, связанные с воспроизводством самого человека как на неотъемлемый фактор отношений общественного производства, то нет ничего удивительного, если мы теперь по порядку обрисуем в общих чертах основные проблемы, относящиеся к эволюции

3) *структур родства и этнических объединений.* Достаточно подчеркнуть в этой связи, что еще два или три столетия спустя, после VIII в., знаменующего начало греческой колонизации и этруского синойкизма.

структуры родового типа были широко распространены и обнаружили стойкую живучесть. И не только в «варварской Италии» (как мы анахронистически, ради краткости, можем ее назвать), но даже в самих основанных греками колониях и этрусских синойкизмах. И, однако, устойчивость родственных отношений, родовых обычаев и обрядов не исключает прогрессирующего преобладания форм родовых и этнических объединений на территориальной основе. В них снова объединения, имеющие определенную структуру, в конце концов проецируются на почву, объективизируются и материализуются на ней (укажем, например, еще раз на сообщение Диодора о территориальном распределении внутри самого города различных греческих и родовых групп, участвовавших в основании панэллинской колонии Фурий, или же сошлемся на рассказ о территориальном размещении римских триб). Вне города или, более того, вне сферы его прямого влияния формы этнических объединений, характерные для эпохи военной демократии, т. е. характеризуемые тенденцией к образованию более или менее гетерогенных конфедераций родов и племен, продолжают существовать вплоть до довольно поздней эпохи. Так что в отношении всего периода и всей затронутой сферы можно было бы, вероятно, сказать (как уже отмечал проф. Паллоттино), что процесс этногенеза, процесс формирования различных народов (в более прямом и более узком значении этого слова) совпадает в своей сути с процессом возникновения городов, т. е. с процессом утверждения и распространения государственно-унифицирующего влияния города.

Среди исследуемых тем, заслуживающих в этой связи особо углубленного рассмотрения, хотелось бы указать на относящиеся к

4) *ономастическим структурам*, связь которых с действительными родственными структурами до сих пор не всегда ясна, но, с другой стороны, эволюцию которых — именно в связи с развитием отношений города и деревни — было бы весьма интересно проследить у разных народностей Полуострова и Островов, вплоть до решительного возобладания этрусской родовой ономастической системы над патронимической системой греков и до всеобщего распространения в римское время системы *tria nomina*.

Из того, что в общих чертах было отмечено по поводу структур родства и этнических объединений, можно понять, что еще и в доримской Италии с ними оказываются тесно соединены и переплетены

5) *структуры, присущие способам и типам поселения*. Можно сразу же подчеркнуть, что не только в начале изучаемого периода, в VIII в., но даже, по меньшей мере, вплоть до IV в. до н. э. процесс оседания всех разнообразных народностей нашего Полуострова и Островов был еще далек от завершения. Во всяком случае для народностей вроде самнитов и луканов VI—V вв. до н. э. или галлов V—IV вв. до н. э., у которых этот процесс еще не завершился, не исключена, если говорить о способах поселения, структура по пагам (*pagos*), т. е. единицам поселения, включающим в себя в большинстве случаев разные села (*vicos*), более или менее случайно группирующиеся вокруг укрепления (*castellum*) — военного округа и центрального убежища: территориальная структура, прецеденты которой среди других племен нашего Полуострова можно найти вплоть до II периода эпохи бронзы (сравните культуру пещерных трентинских кастельер и др.) и которая потом вплоть до римского завоевания останется структурой, широко преобладающей среди народностей, еще не подвергшихся прямому воздействию городских культур и греческой, этрусской и пунийской колонизации.

Два кратких замечания по поводу этого типа структуры. Во-первых, поскольку *castellum* может рассматриваться в пределах этой самой структуры как первое ядро поселения городского типа, сразу же можно отметить, что даже в этом случае (что часто случается в областях очень различных) данный вид «исторического предвосхищения» оказывается тесно связанным с требованиями войны и обороны; так как они, ставя на карту с а м о с у щ е с т в о в а н и е данной общины, стимулируют величайшее напряжение творческой энергии во всех направлениях.

Во-вторых, представляется несомненным, что — в структуре пагов — сам акт поселения вновь с особой непосредственностью и очевидностью сталкивает нас с существованием (на что мы уже много раз обращали внимание читателя) человеческого коллектива, который проецируется на почву, так сказать, оставляет на ней росчерк своей собственной структуры, т. е. структуры родственной и этнической, чаще всего родового типа. Сразу же приходит мысль, что, собственно, в самом факте поселения нужно искать корень (или ключ) тех процессов «объективации», «проекции на землю» определенных структур, к которым мы уже часто возвращались и должны будем еще возвращаться, говоря об отношениях города и деревни. Но совершенно ясно, что акт поселения не е д о с т а т о ч е н для того, чтобы дать нам доказательство этих процессов. Факт тот, что в изучаемой историко-географической среде — при самом этом акте — первоначальная структура данного родственного и этнического коллектива, проецируя себя на землю и оставляя на ней свой след, подвергается в действительности серьезным искажениям и деформации. Тем не менее конечным результатом этого процесса является переход от образований родового типа к образованию территориального типа. Более того, там, где — как это случается очень часто — структура по пагам формируется вокруг укрепления (*castellum*); там, где в ближайших окрестностях самого укрепления еще создается стабильное поселение, в котором старое (или новое) укрепление (*castellum*) приобретает функции кремля (*arx*), там, очевидно, открывается путь к эволюции собственно городского типа, в процессе которой укрепление, кремль, сам город в конце концов становится объективной осью эволюции. Эволюция эта в известном отношении независима, а иногда даже п р о т и в о п о л о ж н а эволюции данного этнического объединения.

Недостаток места не позволяет нам остановиться на других способах поселения, в том числе развитого городского типа, вроде тех, которые возникли на основе синоикизма или выведения колоний, о чем, впрочем, мы уже имели случай сказать более подробно. Но здесь особенно важно подчеркнуть сам факт качественного, структурного различия, выделяющий — в доримской Италии — из всех других собственно типы поселения, которые возникли в результате осознанного и целенаправленного акта их основания, как это и подобает «подлинному городу» (*urbis iusta*), а также те, которые, даже имея другое происхождение, в ходе исторического развития уподобились им как в своих учреждениях, так и в своих порядках. Собственно в отношениях города и деревни, в организации *πολιτικῆ χώρας* — сельской территории города — эта качественная структурная разница проявляется вполне наглядно. Но особенно наглядно проявляются прежде всего в «основанных» городах все те явления «объективации» определенных структур, о которых мы уже не раз говорили. Это, в первую очередь, имеет силу также и для

6) *языковых и письменных структур*, присущих процессам общения и образующих важнейшее средство связи в самих отношениях общественного производства. Что касается языковых структур, в частности, в их

связи с отношениями города и деревни, то мы уже указывали на то, что здесь речь идет об одной из тех тем, которые в последние десятилетия были относительно более глубоко изучены. Однако исследования в этой области чаще направлялись на чередующуюся смену взаимных отношений и языковой гегемонии города или соответственно деревни, чем на развитие самих языковых структур. Не преуменьшая никоим образом важности проведенных до сих пор исследований, обратим, однако, внимание специалистов на большой интерес, какой для целей нашего исследования могло бы представить углубленное изучение тем того типа, которые начал исследовать несколько лет назад Альтгейм. Это темы — сугубо структурные и в то же время сугубо исторические, как, например, история силового удара или история ротацизма в комплексе языков Полуострова и Островов в изучаемый период.

В рамках исследования средств и процессов языковой связи на протяжении времени от VIII до III в. до н. э., несомненно, приобретает существенное значение факт о б ъ е к т и в а ц и и определенных языковых структур, важный также и в отношении укрепления города и городских культур. В разбираемом случае некоторые из языковых структур как раз теперь впервые в нашей историко-географической среде «основанных городов», греческих, а потом этрусских, собственно говоря, начали объективироваться и воплощаться в п и с ь м е н н о с т и. Если уже слово действительно было в некотором роде объективированной мыслью, мыслью для д р у г и х (благодаря чему оно, собственно, было способно получить особую действенность юридической или магической и сакральной формулы), то действенность написанного слова возрастала, оказываясь как бы возведенной во вторую ступень, так как делала из него средство, способное схватить на лету в одно ускользающее мгновение бесплотную реальность слова и остановить его, воплотить его в н о в о е средство связи, действующее на расстоянии как во времени, так и в пространстве. Собственно поэтому письменность, может быть, и есть обладающий непревзойденной действенностью материальный знак не только для юридических, магических или сакральных формул. На милевом камне или в календаре написанное слово выступает как знак и мера пространства и времени. Оно же есть средство общения в пространстве и во времени также в эдикте архонта, в священных анналах и в городских фастах. Оно становится знаком присвоения, знаком границы, знаком на монете, в административном и фискальном реестрах. Оно превращается в тексты закона, в орудие власти, а иногда и принуждения, но всегда и всюду остается новым и решающим средством общения, организации и формирования социальной структуры.

Поэтому не случайно конкретные исторические превратности, связанные с первым появлением и распространением письменности на территории нашего Полуострова и Островов, практически совпадают с основанием городов (путем колонизации или путем синойкизма), с распространением экономического, политического и культурного воздействия греческих, пунийских и этрусских городов. В общем и целом без письменности не было города (в собственном и узком смысле этого слова); так же как не существовало письменности без городской культуры или культурного воздействия города. Это действительно историческое совпадение имело глубокие структурные корни, как это подтверждает анализ, произведенный еще Аристотелем (Polit., VI, 5, 4, 8). Не случайно, говоря о магистратурах, он называет (в числе магистратур, неотделимых от самого существования города) должность зрителя городских архивов (буквально — *τὰς γραφαὶς* — «писаний»), нотариальных и судебных; так же как не случайно, сразу же после рассказа (не раз уже упомянутого)

об основании панэллинской колонии Фурий, Диодор Сицилийский (XII, 12, 4) сообщает о том, что законодатели города Харонду приписывают закон, который предусматривал бесплатное обучение грамоте (*γράμματῶν*), — т. е. чтению и письму, — сыновей всех граждан.

Во всяком случае ясно, что при тесной органической связи между городом и письменностью (как объективированным и материализованным словом) процесс объективации и материализации самых различных структур, о которых мы постоянно упоминали, говоря о городе и взаимоотношениях города и деревни, не может быть сведен только к простому факту поселения и тем более не может им исчерпываться.

Чтобы получить представление о природе и более глубоких корнях этих явлений объективации и материализации, важно будет предпринять исследования, касающиеся структур, присущих процессам связи, таких, как

7) *товарные и монетные структуры*, которые, еще более чем языковые и письменные, создают не только важнейшее средство связи, но и неотъемлемый элемент производственных отношений в изучаемых обществах. И если, с одной стороны, действительно, выражение первого великого разделения труда — разделение между городом и деревней — предполагает определенный уровень развития товарного хозяйства, то, с другой стороны, не подлежит сомнению, что возникновение и утверждение города стало решающим побудительным средством этого развития. Это тем более справедливо, когда речь идет о городах (как это и было в доримской Италии), какими были греческие и пунические колонии, где предпосылки товарного развития созрели уже раньше в том историко-географическом окружении, которое было значительно более развитым в этом отношении, чем местная среда. С момента своего первого устройства, таким образом — в отличие от того, что происходило в местных *castella*, рынок (*ἄγορά*) (это подчеркивал, как мы видели, уже Аристотель в своей «Политике») выступает как важнейший составной элемент греческого города-колонии в Сицилии и Великой Греции. Но чем же является *ἄγορά*, как не утверждением, материализацией, проекцией на почву города структуры самого города, структуры, органически товарной по своему существу?

О процессах связи мы говорили по поводу этих товарных структур (процессов экономической связи), так же как мы говорили о процессах языковой связи по поводу слова. Мы определили слово как «мысль для других». Но не является ли сам товар — простейший элемент всякой товарной структуры — не чем иным, как «продуктом человеческого труда (и потребительной стоимостью) для других». И еще. О процессах языковой связи и о письменности мы говорили как о дальнейшей объективации слова, как о мысли, возведенной во вторую ступень. Но (поскольку мы занялись процессами экономической связи и обращения) не являются ли деньги не чем иным, как той же самой дальнейшей объективацией товара и материализацией его стоимости, как той же самой «второй степенью» продукта человеческого труда для других?

Не случайно, конечно, в доримской Италии появление и распространение как письменности, так и денег (в их монетной форме или еще раньше в форме общего эквивалента, материализованного в головах скота, — ср. *resus*, *rescipia*) представляется органически, структурно связанным с распространением городской экономики и культуры.

Здесь мы, возможно, касаемся самых глубоких корней, даже самой структуры всех тех процессов объективации, овеществления самых различных структур, с которыми мы сталкивались на всех уровнях, ис-

следуя проблемы города и проблемы отношений города и деревни в древней Италии. Конечно, во всяком процессе объективации — даже при объективации мысли, становящейся словом, даже при объективации слова, которое становится писанным, — всегда присутствует некоторый элемент овеществления, фетишизации, которую Маркс столь глубоко проанализировал, исследуя товарный фетишизм. И всякий раз вновь в этих процессах — речь шла и идет о деятельности, о труде, о человеческих и общественных структурах, в которых человек находится перед лицом вещей, приобретших объективную, автономную реальность, вплоть до того, что они даже противостоят человеку как выходящая реальность, наделенная в своих проявлениях мистической и непреодолимой властью. Точно так же дело обстоит и с самой мыслью, которая — в слове — противостоит человеку как предписание, как запрет и даже как сарказм, как заклинание; так же дело обстоит и со словом, которое, будучи написанным, противостоит человеку опять-таки как закон, как обязывающий его договор и т. д.

Во всех этих процессах, во всяком случае, эта высшая среда, противостоящая человеку, выражает на деле объективацию, овеществление силы действенно высшей, каковой является сила объединенного человеческого коллектива, которая на всех уровнях превосходит и силу отдельного человека или арифметическую сумму сил отдельных людей. Но именно поэтому предметом нашего внимания будет не столько превосходство этой «вещи», сколько тот факт, что она представляется нам именно как вещь, а не как сила объединенного человеческого коллектива. Обоснование этому может дать уже не анализ того или иного процесса объективации, а только лишь анализ того особого процесса объективации, который выражается в фетишистском характере товара. И лишь этот процесс действительно развивается до того уровня, что охватывает уже не только ту или иную структуру, но и самые

| 8) *структуры общественных производственных отношений*, в рамках которых производительная деятельность человека сама по себе, вырабатывает вместе с материальными предметами, необходимыми для его существования, все формы и все средства социальных связей, все суперструктуры своей общественной жизни, которые по отношению к структурам производственных отношений находятся, однако, уже не в каких-либо отношениях иерархической субординации, а разве только в генетической и, следовательно, в органически структурной связи.

Но какое значение имеют эти более общие методологические соображения в связи с проблемами города и отношений города и деревни в до-римской Италии? Какова же та структура, которую все эти соображения позволяют нам выделить в этой совокупности структур, однородных в тенденции, и анализ которой мы пытались до сих пор дать в самых общих чертах? Кажется несомненным, что особая очевидность, которую приобрели на уровне всех городских структур, всех структур отношений города и деревни процессы объективации, овеществления и иногда «проецирования на почву» этих самых структур, генетически связана не столько с фактом устойчивости городского поселения, которое само является такой «проекцией на почву» (или, вернее, одним из ее видов или моментов), сколько с появлением общественных отношений, при которых вместе с первым великим общественным разделением труда между городом и деревней производство на рынках не имеет уже второстепенного характера и значения, становится особенно характерным для структуры самих производственных отношений. Это означает, иными словами, что этот процесс объективации, отчуждения, фетишизации, который характерен для товарного фетишизма, принимает

на всех уровнях значение генетической и структурной модели, значение структуры, которая организует и формирует само по себе в себе элементы данного структурного комплекса, характерного для города и отношений города и деревни в древней Италии.

Это, разумеется, проявляется с особой очевидностью, и когда дело идет о меновой стоимости товара, объективирующей и материализующейся в деньгах, в которых фетишистский характер самого товара представляется, так сказать, возведенным во вторую степень, или, когда дело идет о товарных структурах города и отношений города и деревни, которые материализуются и проецируются на почву города в форме *ágorá*; или же, наконец, когда дело идет о структурах, присущих передвижению и транспорту, которые материализуются и проецируются на самую почву в форме городской, внутриадабной, местной, внутриобластной и межобластной построенной дорожной системы и т. д.

В других случаях, когда, например, дело идет об объективации и проецировании прямоугольных форм на почву городского поля, связь с отношениями товарного производства и, следовательно, с товарным фетишизмом проявляется, конечно, менее очевидно и прямо. Однако даже в этом случае речь идет о связи реальной, а не коренящейся исключительно в «непознаваемом» (как гласят некоторые структуралистские истолкования). Действительно, достаточно вспомнить в этом контексте уже сказанное нами о связи этих прямоугольных форм с двупольной системой земледелия и, с другой стороны, учесть, что в тогдашней обстановке древней Италии собственно только более высокая производительность труда этой системы земледелия, по сравнению с залежной системой, могла обеспечить тот избыток сельскохозяйственной продукции над потреблением самого земледельца, который является необходимой предпосылкой для утверждения товарного хозяйства и самого общественного разделение труда между городом и деревней.

Сразу же нужно добавить, однако, что даже рассмотрение товарных структур в действительности не исчерпывает анализа производственных отношений, характерных для города и для отношений города и деревни в древней Италии. Следовательно, само по себе это рассмотрение недостаточно, чтобы дать полный отчет о всех тех процессах объективации, фетишизации, отчуждения, «проецирования на почву» структур, которые кажутся или покажутся нам присущими таким отношениям. Действительно, этим производственным отношениям и этим товарным структурам органически и обязательно соответствуют определенные и аналогичные им

9) *структуры собственности*, характеризующиеся теперь частным присвоением главных средств производства и, прежде всего и в первую очередь, основной предпосылки самого производства — земли: частное присвоение, с другой стороны, больше не имеет временного и второстепенного характера, но становится характернейшим признаком всей структуры рассматриваемых производственных отношений. Конечно, нет сомнения в том, что любая товарная структура (которая в самом своем определении содержит понятие производства для других) была бы даже немыслима в пределах той общины, где присвоение средств производства и само производство сохраняли бы общественный характер и не приобрели бы характера частного, при котором всякий частный собственник и производитель может стать производителем товаров, производителем для других. Не случайно, следовательно, в греческой колонизации (как этрусском синойризме) и потом в римской колонизации именно частное присвоение земли, органически связанное с переходом от залежной системы земледелия к двуполью, предстает перед нами

как структура, по сути своей неразрывно связанная с возникновением и самим устройством города: таким образом, не может быть города в собственном смысле этого слова, если в нем нет (как мы уже видели) ἀγρονόμοι — «распределителей» и «распорядителей» полей; точно таким же образом в Сиракузах, например, и вообще в дорических колониях только те были полноправными гражданами, кто принадлежал к γαμύροι, «тем, среди кого распределена земля» (ср. Нег. VII, 155).

Еще того более. Возникновение товарных структур и неотделимых от них частнособственнических структур влечет за собой многообразные процессы объективации, отчуждения, материализации, «проецирования на почву» самих этих структур. А частное присвоение земли, например, проецируется на почву в виде сетки limitationes, где limes не является больше внутриусадебной или местной дорогой, но становится латинским finis и terminus, этрусским tular, греческим ὄρος, межевым камнем, видимым знаком нерушимой границы частной собственности или даже знаком (как это часто бывало с греческим ὄρος) ипотеки, которой отяготил данный участок другой собственник.

«Когда Юпитер избрал для себя землю Этрурии — гласило пророчество этрусской нимфы Вегойи, угрожавшее самыми страшными проклятиями нарушителям границ — он установил и повелел, чтобы были измерены поля и размечены участки (metiri campos signarique agros). Но зная человеческую скупость и алчное стремление к обладанию землей, он пожелал, чтобы все поля были отмечены межевыми знаками (terminis omnia scita esse voluit)» (Gromatici veteres, ed. Lachmann, I, p. 350). Сам Юпитер (этрусский Тиний) был, кстати сказать, хранителем tular — пограничных знаков. А Tarquy, божественному отроку, вышедшему из борозды, который открыл Тархону вместе с искусством гаруспций искусство limitatio, приписывалась (ср. Serv., ad Aen., I, 2) liber qui inscribitur terrae iuris Aetruriae, т. е. книга «о земельном праве Этрурии» или скорее «об этруском праве относительно земли», выражение, первоначальную этрусскую формулировку которого Мадзарينو удачно определил в словах helu tesne rasn «terrae ius Aetruriae», имеющих на Перузинском камне. Начиная от ее первых легендарных истоков — как в греческих городах-колониях Сицилии и Великой Греции — городская по своему характеру культура Этрурии отождествляется с культурой, основанной на частном присвоении земли и на материализации и «проецировании на почву» этой своей собственнической структуры в виде пограничных знаков и зримых межевых линий.

Но и того больше. Собственнические структуры, определяемые теперь как таковые, необходимым образом влекут за собой выработку и дифференциацию аналогичных

10) *социальных и классовых структур*, о которых не будем здесь говорить подробно, но которые уже в силу далеко зашедшего общественного разделения труда, именно — между городом и деревней, и в силу установившегося порядка частного присвоения земли несут в себе, по крайней мере, возможность структурного выделения антагонистических классов. Если уже и сами по себе эти структуры несут в себе возможность дифференциации между имущими и неимущими, между богатыми и бедными, то развитие колонизации и синоикизмов, установление контактов с народностями, завоеванными или подчиненными, но еще не вовлеченными в эволюцию городского типа, открывают дорогу для возникновения различных типов зависимости, каковы, например, Κολλύριοι — данники сиракузян, или περίοικοι («обитающие вокруг») по отношению к греческим колониям Сицилии и Великой Греции, или, наконец, зависи-

мость *пэвэстхи* (как их называет Дионисий Галикарнасский — IX, 5, 4, — пользуясь термином, заимствованным у фессалийцев), по отношению к «владельческим» этрускам, не говоря уже о формах настоящей крепостной и рабской зависимости, которая приобретала все большее значение в хозяйстве и обществе доримской Италии, когда ее все более широкие пространства постепенно подпадали под влияние городов.

Но там, где, как в случае отношений личной зависимости, — полукрепостной, крепостной, в особенности же рабской, — сам человек в конце концов становился товаром, продуктом для других. И это теперь уже не только метафорическое отчуждение влечет за собой, с одной стороны, крайнее напряжение всех социальных отношений, которое угрожает внутренним распадом самого общества, с другой стороны, оно влечет за собой новый усиленный толчок в направлении всех процессов отчуждения, объективации, овеществления, среди которых в древней Италии приобретают особое значение процессы, органически связанные с укреплением города и развитием отношений города и деревни, с первоначальной выработкой собственно

11) *государственных структур*. Только лишь с утверждением новых производственных отношений, новых торговых и собственнических связей, только с разделением на антагонистические классы эти государственные структуры, которые, кажется, были едва лишь намечены в некоторых учреждениях эпохи военной демократии, — теперь объективируются, материализуются и стабилизируются в виде магистратур, в виде власти, отделенной от общества и поставленной над ним (а иногда противопоставленной ему) и располагающей силой принуждения, которая направлена на увековечение антагонистических структур, но в то же время к сдерживанию и торможению тенденций к внутреннему распаду. Таким образом, еще раз то, что является в конечном счете высшей властью объединенного человеческого коллектива, объективируется, фетишизируется, выступает как вещь (как тюрьма, как этрусские фасы ликторов, как цикута или как меч палача), с которой человек сталкивается как с непреодолимой и очень часто враждебной реальностью. С другой стороны, в пределах этих государственных структур процесс объективации и отчуждения распространяется в городском мире и в отношениях города и деревни в древней Италии на всех уровнях и — в первую очередь — на уровне

12) *правовых структур*, в которых то, что было прежде *mos gentium* — комплексом традиционных обычаев и привычек данной народности, заново объективируется и материализуется в суде, законе, праве, как, например, в *helu tesne rasn*, в *terrae ius Aetruviae*, санкционированном не только авторитетом прорицаний нимфы Вегойи, но властью магистратов, таких, как *zilath*, как *praetores*, которых нередко этрусская иконография изображает с их вооруженной свитой.

Подойдя к правовым структурам, в частности, к праву, мы, таким образом, перешли к рассмотрению структур (или, если угодно, суперструктур, надстроек) идеологического порядка, в рамках которых все противоречия, все внутренние раздоры изучаемого общества только и могут дойти до сознания людей. А в уже развитом сознании человека при общественном разделении труда между городом и деревней в доримской Италии полярность этих противоречий, этих процессов распада и отчуждения может выражаться, с одной стороны, в выявлении и в критике «идиотизма сельской жизни», в «сатире на мужика» (в чем уже в начале V в. до н. э. упражнялся в Сицилии, например, Эпихарм — в своем *Ἀγροστίως* — «Деревенщине») и, с другой стороны, в отвращении от городской жизни, в болезненно тоскливой идеализации жизни сельской, что (в самой Сицилии и в Великой Греции) проявляется в идиллиях Феокрита. Но это уже начало другой темы, заслуживающей особого рассмотрения, к которому мы намерены приступить в другой раз.